

Русский писатель в Латвии

Ирина Цыгальская

Не уходи (рассказы)

Абрам Аронович был когда-то моим дачным соседом, но никакого близкого знакомства мы не вели. И мне странно, что теперь в долгие часы ночной бессонницы я так много о нем вспоминаю. О нем и о его жене Марии, которая умерла на пару лет раньше Абрама Ароновича, а перед смертью долго и тяжело болела. Он успел застать горбачевские перемены, правда, самое-самое начало. Сочувственно следил, как Горбачев старается переделать страну. Наверно, много думал о своей прожитой жизни, убеждениях. Или — об отсутствии убеждений: так ему порой начинало казаться.

Он не говорил, что жил напрасно, не спешил каяться, не суетился. Казалось, единственное, о чем он сожалеет, был уход жены.

Главное, она умерла в его отсутствие, пока он, гуляя и стараясь отвлечься от мрака в своем доме, занимался поисками смысла жизни или просто утопал в каких-то неясных грезах, печальных и не печальных представлениях. В период нашего соседства Абрам Аронович обычно со мной не заговаривал. Здравсте — здравсте, вот и всё.

Мне казалось, что он напряжен, сосредоточен, поэтому я невольно воображала его внутренний монолог или, может быть, диалог с самим собой.

Но однажды Абрам Аронович меня остановил. «Послушайте, — попросил он, — напишите о моей жизни!» Просьба была неожиданной, я не отвечала и смотрела на него с удивлением, может быть, и с мистическим испугом: откуда ему известно, что я воображаю его внутренние беседы с самим собой.

«Кое-что я расскажу вам, — пробормотал он смущенно, — остальное придумайте сами. Или постарайтесь разглядеть, вы ведь тоже здесь живете. Я имею в виду время и место земного пребывания».

— Не уходи, — удержала его Мария, — послушай...

Она не могла вспомнить, и это уже начинало мучить, — не могла вспомнить, какие стебли у тех синеньких весенних цветов. Сам цветок виделся ясно: обычная чашечка, довольно мелкая, не то, что глубокие колокольчики. Весной эти цветы продавались на базаре, в цветочных магазинах. Да на каждом углу.

— Скажи мне, какие стебли...

— Да обыкновенные: стебли как стебли.

— А листья?

— Что — листья? Ну, тоже: листья как листья.

Абрам Аронович всё сильнее досадовал, что не удалось ускользнуть. «Скрипнула, поганая, — проворчал на дверь, — а вчера еще не скрипела». Еще бы секунда, — и он скрылся во второй комнате. А то бы и совсем ушел, бесшумно закрыв наружную дверь — там-то он петли смазал! «Из чистого, Машенька, человеколюбия». Ну, да: чтобы Мария не сразу поняла, что опять одна.

— Абра-ам! — окликнула она.

«Господи, сколько отчаяния. Будто я снова на фронт».

— Он застыл на пороге. Не обернулся, не отозвался — «а?» или «что?». Одной напряженной спиной выразил покорность зову.

— Я не могу вспомнить. Была тропинка. По-моему, весной. Солнце хорошо согревало спину, но после спряталось. Где это было? Когда?

— Ой, Маша, — простонал он, — знаешь, сколько тропинок на свете?! Ради Бога!

— Не так и много, — у меня. Когда родилась наша Ася, мы гуляли вдвоем, помнишь? Больше я не гуляла, уже с Любочкой ходили ты и Ася. Потом стали брать Анечку, потом Ниночку... Теперь тоже весна!

Весна радовала и Абрама Ароновича. Но и томила. Дочки собирались в отпуск. Звонили наперебой. «Чтобы нас подготовить. Как будто не уезжают каждое лето». И он раздраженно отвечал телефону:

— Да едь, куда хочешь! Надолго? Ну, хоть на всё лето пропади!

Ниночка тоже, видно, почувствовала раздражение. Напустилась на отца, нашла зацепку: народный контроль. Был такой на заводах, то ли под конец брежневской эпохи, то ли в самом начале горбачевской.

— Для жизни твой народный контроль — тьфу, — пищала Ниночка, телефон забавно искажал ее голос, — теперь на энтузиазме далеко не уедешь!

Спор продолжился и при встрече, в воскресенье. «Подумайте, — говорит мне Абрам Аронович, — съехались все четыре! Ну, и ну! Лишь бы поспорить»...

— Ты, папа, вообще, — старалась повысить свой тонкий голос Ниночка.

Она могла и не продолжать: он знал, что дочери, особенно младшая, его считают «вообще идеалистом».

«Идеалист?» — переспрашивает себя Абрам Аронович, и при этом чуть не вся жизнь быстрыми кадрами пробегает перед глазами.

— Я был всегда, — объясняет дочкам, — убежденным советским человеком. Гитлеровское нашествие мы пережили в осажденном Ленинграде. И слава Богу, я так считаю. Лучше блокада, чем газовые камеры. А могу ли я забыть послевоенное строительство? Тогда было чувство плеча. Будет у вас время, я покажу фотографии тех лет, я их часто разглядываю. Там все, с кем я работал на ленинградском заводе. Ну, не было среди них ни злодеев, ни завистников. И что я — еврей, ни разу никто даже не напомнил.

— Да это потому, — спорят они, — что вы ничего знать не знали, кроме своей рабочей со- вести. Так чему бы и кто завидовал?

Он считал, что нашлось бы и чему, и кому. Только девочкам не объяснишь, другие времена.

«Да и в Риге никто не напоминал, что мы евреи».

Они переехали в Ригу, когда туда после немцев опять вернулись русские. Переехали по просьбе его родителей, те не хотели стариться и болеть тут в одиночестве.

В Риге Абрам Аронович тоже работал на заводе.

— Мы, конечно, бедно жили. Но я себя чувствовал человеком.

— А мама? — допытывалась Ниночка.

— Что — мама?

— А мы?

— Что — вы? Девчонки как девчонки.

«Мария не вмешивалась в эти споры, — вспоминает Абрам Аронович, — мне кажется, она слушала их голоса, как музыку. Радовалась: здесь они, вон, говорят чего-то»...

— У тебя, Нинок, идеалов нет, — поучительно замечает Ася.

Воображает, что она одна меня понимает. А в действительности... Да я на самом деле гораздо хуже, чем ей кажется».

— Почему же нет? — возражает Ниночка. — Просто мы с тобой их по-разному представляем.

Да ну вас! — кричит Люба. — Какие идеалы?

— Пропади пропадом идеалы. Нам важно, чтобы папа не оставлял надолго больную маму. Пока мы не вернемся, — вносит ясность Аня.

Дочки разъезжаются по домам, однако их беспокойство не проходит.

«Названивают, пока не отбудут в отпуск, — рассказывает Абрам Аронович. — «Пожалей маму», — передразнивает он. — А то я не жалую»...

У него в ушах еще долго звенит восклицание Аси: «Представь себя на ее месте!»

«Если бы они знали, — вздыхает он, — насколько натурально я представлял и как были безнадежны мои попытки хоть ненадолго отключиться. Невидимой тенью ходила со мной душа Марии»...

Покинув дом, он совершал в воображении ее путь к окну. Сперва Марии надо было, оперевшись рукой о столик, подняться с кровати и постоять с минуту, стараясь обрести равновесие. Шагнуть к стулу, а дальше двигать его перед собой, держась за спинку обеими руками.

В окне была только слепая стена соседнего дома.

Осенью, когда еще оставались свежими дачные впечатления: пышный сад у порога, хорошо слышные людские голоса, Мария без труда поворачивала здание лицом к себе. В глухой стене проступали окна, на стеклах вспыхивало отраженное солнце.

Мария напрягала память, — дом приближался, окна распахивались. К одному из них подходила аккуратно причесанная блондинка средних лет.

Мария Иосифовна блондинку не знала, до ее болезни тут такая не жила.

Но незнакомка приветливо кивала:

— Уже вернулись? Отдохнули на даче, сил набрались.

— Какие мои силы.

— Не лучше?

— Да я не страдаю телом. Ноги, спина, тяжесть на сердце, — всё терпимо. По сравнению с тем, что болит душа.

— Маша, — мучаясь, шепчет за ее спиной Абрам Аронович.

— Дай же мне поговорить!

Мария Иосифовна продолжает беседу с аккуратно причесанной блондинкой.

— Я люблю поговорить, это мой праздник. Редкий — редкий. Одна весь день. Скучаю. Читать не вижу. Остается думать.

— Думать! — почти с восторгом вскрикивает Абрам Аронович. — Это же чудесно, что наконец есть время думать.

— Да-да, — Мария Иосифовна теперь не хочет таить в себе обиды, — да-да: он судит по себе. А я — простая женщина, — ее голос звучит ядовито, — стихов не сочиняю, акварелью не балуюсь. А что? Ведь позавидуешь: такая радость! Сочинил стихотворение! Да я не издаюся, это правда. Сочинил. И чувствуешь себя необыкновенным, хотя бы миг. А я? О чем мне думать? Всё ясно. Надо дожить до полочки. Да

я не жалуюсь. Перед полочкой хлеба нет, так лепешки пеку, чего там думать. О том, зачем живу? Всегда казалось: для других живу. Ему, детям. Но он мне нынче говорит: это тебе наполняли жизнь другие!

— Машенька, — страдает он за ее спиной, — какие стихи? Откуда тебе известно про стихи? И я ничего тебе теперь не говорю.

— Не говорит! Скажите... Да так и есть: молчит. Да и не слышит, когда не хочет. Я помню, Ася как-то пришла из школы и просит меня: Уедем в Биробиджан! — Зачем? — Ася как заревет: Там наша родина, домой. — Да дом не там! — А где же? — Спроси папу. — Ася его и спрашивать не стала. Но ночью, когда все уснули, он шепчет мне: Какой Биробиджан? Училась бы, чем слушать глупости.

...Перед ожившей под взглядом Марии стеной вырастал палисадник. Качались на ветру черные, пропитанные дождем палки, — всё, что осталось от летних подсолнухов.

Мария Иосифовна глядела на них, бормотала что-то блондинке в окне — и так избавлялась от ненужного ей теперь времени.

Еще оставались свежими и без труда оживали в памяти летние впечатления, разговоры с сестрой на дачной веранде. Сестра приезжала теперь каждое лето поухаживать за Марией.

О приближении зимы Мария вспоминала с содроганием. Зимой память уже не подчинялась ей. Перед наступлением весны и дом не разворачивался лицом, оставался безглазым и глухим.

Всё забывалось. По двору, как в царстве теней, растерянно скитались, не находя своего места, предметы, люди.

А ведь Мария так старалась запомнить. Вернувшись с дачи и быстро домчавшись с вокзала на такси, стояла во дворе, выучивала наизусть, где что. Прекрасно понимая, как мучит этим Абрама Ароновича.

Он томился, даже тихо постанывал, но не торопил. Жалел ее, потому что впереди были долгие слепые и немые месяцы. Двор у них был огромный. И оригинальный: непохожий на другие рижские дворы.

Деревня в миниатюре. Сулицы, как составная часть большого двора, вклинивается еще дворик, на три четверти обнесенный забором, но вполне самостоятельный. Со своим собственным хозяйством: штабелями дров, детскими колясками и бельевой веревкой.

Кроме этого дворика в большом дворе помещались два палисадника.

Мария Иосифовна тревожится, что, когда начнут сносить деревянные дома в их дворе, убирать заборы, то поспиливают и все деревья.

— Да ты что! — возмущается Абрам Аронович. — Теперь всё наоборот: зеленое берегут.

— А если помешает?

— Спланируют, на чертежах всё предусмотрят.

— Эх, ты... всё-то веришь в разумное устройство мира.

— Верю?

— Господи, Господи, помилуй нас, грешных. Ладно уж, иди, — отпускает Мария.

Виновато вобрав голову в плечи, Абрам Аронович выходит из комнаты, а затем и вовсе ускользает из дому.

Он не может не жить, и жизнь, кажется ему, не здесь, а за порогом.

«Какая-то неодолимая сила тянет, — оправдывается перед собой, — и не потому, что больна Мария: всегда тянула. Но в разумное устройство мира я совсем не верю. Потому что всё вижу и знаю. В том числе и про несчастный Биробиджан. Ну, решил усатый. А нам-то что? Пока не трогают? Что же, думает Мария, я должен был объяснить Асе?»

Когда-то Абрам Аронович убежал на свидания к Милочке. Минуты с нею ему казались настоящей жизнью.

«Душа, бывало, трепещет, — вспоминает он, — дрожит, как струна, при самом ничтожном впечатлении... Но не любви я ждал от Милочки, не общения с ней искал. Хотя, понятно, и это было, куда денешься. Но главное... что же? А вот — что-то! Ветер меня ласкал при ней, запах сирени будоражил... Я утешал себя: это совсем не то, что могут подумать люди. Просто — иду я с Милочкой и вижу: вот яблони зацвели... вот падает мокрый снег».

А дома он ощущал странную раздвоенность. Как будто необходимые движения, к примеру, чтобы затопить печи, делает кто-то другой, не он. И особенно невыносимым становилось это ощущение от житейской болтовни. Когда они с Марией слегка осуждали родственников, подразумевая при этом правильность собственных привычек.

Абрам Аронович считал, что о чем-нибудь настоящем вообще говоришь редко. Тем более это невозможно, если в беседе участвуют больше двух человек.

Ну, например, у них на даче. Каждое лето там гостит сестра Марии Анастасия. Абраму Ароновичу кажется, что, сидя с сестрами на веранде, он не улыбается своей натуральной улыбкой, а лыбится.

Но он с нетерпением ожидает лета, с каждым годом всё с большим нетерпением и всё с большими надеждами. А лето пролетает всё быстрее и оставляет всё большую досаду, что не сбылось.

Он не знает, что именно не сбылось, не знает, чего он ждал. Если бы его спросили, он бы молча задохнулся от нахлынувших чувств. Зелень, морские волны, запахи...

«Голова кругом».

Одной из видимых причин досады было то, что Абрам Аронович не смел уйти из дому, не напоив сестер вечерним чаем. Мало сказать — напоив: он должен до конца выдержать ритуал чаепития, затем еще перемыть посуду. Так хотела Мария, считая, что это немного: летом все прочие хлопоты берет на себя сестра. Абрам Аронович сидел, молча слушая и не слушая, как болтают женщины.

— Жасмин цветет, — уронит, бывало, Анастасия Иосифовна.

— Совершенно невероятный запах! — восторженно подхватит Мария.

«Как будто они что-нибудь видят в темнеющем саду, — заворчит про себя Абрам Аронович, — как будто могут почуять этот запах жасмина отсюда, с этой веранды».

Он сам в их присутствии не мог вдыхать никаких запахов. Да он и вообще ничего не чуял, не видел, не понимал. В полном отупении сидел и лыбился. Наконец его отпускали.

Абрам Аронович грустно брел по направлению к морю. Но по влажной у берега кромке пляжа навстречу двигалась лавиной людская толпа. Казалось, он должен лыбиться и этим незнакомым людям. Он уходил с пляжа, сворачивал в тихую улицу, по обеим сторонам которой тянулись пышные сады. Здесь наконец-то вдыхал запах того жасмина, о котором болтали Мария с сестрой. Порой внезапно улавливал аромат примятой или скошенной травы. Но этот запах был редким и мимолетным, — кому и зачем косить в курортном поселке.

В тихой улице на его лице разглаживалась гримаса не своей улыбки.

«Вот тут что-то сбывалось, — говорит Абрам Аронович, — оно, казалось, всегда сбывается, если удастся сбежать от странного чувства, что в семье не замечаешь жизни, так как ее заслоняют мириады житейских мелочей. Напрасно Ниночка винит мой идеализм. На своем бывшем заводе, в группе народного контроля, я проводил не больше часу. Улаживал какое-нибудь дело — и отправлялся бродить по городу. Народный контроль — это так: для отвода глаз».

...Абрам Аронович прошел к центру Риги. Постоял у памятника Свободы, наслаждаясь теплом весенних лучей. Справа был парк, Абрам Аронович направился туда. Щурясь, стал смотреть на деревья и заметил, что на черных ветвях наклонились зеленоватые почки. Пологая тропинка подняла его на Бастионную горку. Он уселся на скамью. Когда-то его девчонки кубарем скатывались с этой горки вместе с ворохом осенней листвы. «И сам бы скатился... Но почему-то не отважился ни разу». Мария в этот парк не ходила. Бывала рада, когда он уходил, забрав детей. Прогулки ей казались напрасной тратой времени. А домашние хлопоты никогда не тяготили. Это было ее место, может быть, даже назначение... Задумавшись, Абрам Аронович не заметил, как белое облачко разрослось и потемнело, расплзлось по небу тяжелой тучей.

«Странно, — сказал он себе, — странно жили. И ведь любили друг друга. Хотя соседки ей про Милочку не раз нашептывали: Провожает, видели? Козел! — Но Маша не обращала внимания. Без труда, потому что жила, как хотела. И я — тоже. Так о чем жалеть?»

Но беспокойство не отступало.

«Грызет что-то. Совесть? Потому что теперь она не может жить, как хочет».

Чувство беспокойной совести поселилось с той поры, как Мария заболела.

«Уж эта совесть. Съедает и покой, и волю».

Он задрожал без солнца от холода.

«Какой тебе жизни?» — прикрикнул сам на себя.

Вернувшись домой, он долго возился с дверью, ключ не входил в замочную скважину. Измучившись, он постучал, ни на что не надеясь, просто с отчаяния. На стук почти сразу ответил тихий вздох:

— Папа?

Он узнал голос Ниночки. Она повернула внутри ключ, открыла дверь и уткнулась лицом ему в грудь.

— Мама...

— Да-да, я понял, тише.

— Тише? Зачем?

— Тише, тише, пойдем, сядем.

— Они сели, обнявшись. Спустя несколько минут Ниночка задала ему неожиданный вопрос:

— Ты помнишь дело врачей?

— Я-то помню. Но ты же была совсем маленькой.

— Ася рассказывала, что ты тогда защищал евреев.

— Нужна им моя защита, — пробормотал Абрам Аронович. И подумал: «Как будто это возможно... защищать народ до того, как на него нападут... с ножом хоть, что ли».

— Ты, будто бы, ей сказал: «Не верь, дочка. Евреи так не поступают».

— Боже ты мой, — простонал он, начиная горевать о Марии, слыша внутри себя ее голос, умоляющий «не уходи». — Откуда мне знать, как поступают евреи...

... Не знаю, хорошо ли я выполнила просьбу Абрама Ароновича, так ли написала о нем, как он хотел. Я не успела дать ему прочесть написанное.

Уезжая в Израиль, Ниночка взяла с собой небольшую акварельку Абрама Ароновича, зеленый пейзаж: на фоне леса — поляна, на ней только что сметанные стога.

Иные из гостей Ниночки пристально вглядываются в эту акварель, Нина смущенно объясняет: «Это папина... Ничего особенного, я понимаю. Но мне она дорога, как память».

Оглашенная

Я подслушала Иренину историю в маленьком кафе на окраине Риги.

Самое начало разговора я услышала нечаянно. А потом увлеклась — как пьесой в театре. Или сериалом. Скорее — сериалом: история преподносилась в продолжениях.

Ирена ее рассказывала сверстнице, вероятнее всего — бывшей подруге или просто однокласснице. Словом, той, кого когда-то видела каждый день, с кем делилась своими тайнами: из некой фрагментарности Ирениного рассказа вытекало, что эти женщины когда-то знали друг о друге многое. Мне же иные события их не слишком еще длинных биографий оставалось додумывать и присочинять.

Я вошла в кафе, Ирена была одна. Я села за соседний столик. Показалось, я эту женщину уже видела в Пурвциемсе, она успела привлечь мое внимание, постоянно попадаясь навстречу. Чаще всего она медленно идет по улице, проходит между недавно построенными костелом и Макдональдсом.

Возле костела она встанет иной раз и стоит как вкопанная. Но в костел не заходит и не крестится. Лишь поднимет голову и смотрит куда-то в вышину, не то крест разглядывает на башенке костела, не то плывущие в небе облака. Сейчас она сидит так близко, что не будь это неудобно, я могла бы ее разглядеть получше, может быть, я бы поняла, чем она задерживает внимание.

Вдруг дверь кафе решительно открывается, и вошедшая молодая особа бросается к заинтересовавшей меня незнакомке. — О! Ирена! Так я впервые слышу имя.

— Привет, — отвечает Ирена сдержанно.

Молодая особа представляется мне человеком открытым, из тех, кто способен сымитировать душевную откровенность и таким образом расположить к ответной. — А Ирена, судя по взгляду: взгляд ее словно выплывает из-под приспущенных ресниц, как неохотливое солнце из-под тучи, — кажется скрытной. Лицо ее вполне обыкновенное, черты приятные, хоть и не броские. Только вот этот взгляд...

Женщины сразу заговорили, громко и увлеченно, так что начало истории не услышать было невозможно.

Но конца не было — ни в этот раз, ни в следующий. История прерывалась, но женщины опять и опять встречались в кафе и всякий раз, по-моему, начинали ровно с того места, где в прошлый раз остановились.

Может быть, они встречались тут случайно, а может быть, и преднамеренно, — я не знаю.

Конечно, они говорили о любви.

— Вот я и захотела тогда научиться молитве, — говорит Ирена, — чтобы вложить непролившиеся слезы счастья... Да что оно такое — счастье? Наверно, это другой человек. Это явление другого человека; по чьему-то капризу или по предопределенной закономерности между другим и тобой вспыхивает некое свечение. Ну, как там эти батарейки заряженные, — Ирена поднима-

ет на собеседницу глаза с лукавинкой, — плюс, минус. Они укладываются куда надо и как надо, производится щелчок — и батарейки принимают рождать энергию. Энергия преобразуется — возникает голос, музыка; голос вызывает трепет, а музыка вливается в тебя и повелевает раствориться в залитой счастьем Вселенной. А это нечто — ну, батарейки, — вновь — уже и от тебя — собирают энергию, чтобы снова вспыхнуло свечение: между кем-то и кем-то. А он...

— Да, да: я знаю, — перебивает подруга. Надо же: она знает. Я досадую: помолчала бы!

Они принимаются трещать о чем-то, на мой взгляд, неинтересном. И, пользуясь увлеченностью женщин болтовней, я бесцеремонно их разглядываю. Они совсем еще молодые, лет тридцати, ну, может быть, с небольшим. Привлекательные — какой-то естественной, что ли, прелестью. Ни тени подчеркнутой холерности какой-нибудь современной модницы, про которую реклама возвещает «ты этого достоин». Нет в них подчеркнутого совершенства — ни в одежде, ни в макияже.

«Не центральные девочки, — определяю я про себя, — пурвциемские. Маргиналки?»

— У тебя еще есть немного времени?

— Ну-у, на бокал вина, — отвечает Ирена.

— А ты... одна живешь? Ой, прости ради Бога, я имею в виду всего лишь запас времени.

— Одна? У меня же двое детей.

— Конечно-конечно: я помню. Так ведь они уже подросли. Нет, я про... мужика. Ты замуж не вышла?

— Н-нет, — запинается Ирена, может быть, смутившись, а то — и застыдившись своего ответа.

— Неужели не выбрала? Ведь за тобой увивались, как... как пчелы, вот именно: роились, как пчелы над раскрывшимся цветком.

— Увивались? Ну-у, не знаю. Ну, какое-то время, может быть, и увивались...

— Случалось, я — вынужденная какими-то своими обстоятельствами — уходила из кафе раньше обеих подруг, не дослушав очередной серии.

Оторвавшись от истории до следующего раза, — в том, что и встреча в кафе, и продолжение обязательно будут, сомнений не было, — я не могла не думать об Ирени и ее подруге. В судьбе Ирени было так много обычного, похожего на все наши судьбы, что иногда казалось: она рассказывает про нас всех, про каждую или каждую, — как жила, как теперь проживаем... Но, в отличие от многих нас, Ирена, казалось, не только жила, но и, как бы сказать, разглядывала свое бытование с разных сторон, в том числе, — сверху. Разглядывая, она рассуждала и думала. Ее, например, в проживаемом вре-

мении волнует вот что — это я передам ее словами: «Однажды... у меня возникло настойчивое желание запоминать, чем ознаменовался каждый день. Как будто мне предстоит перед кем-то отчитаться. Как ты думаешь, перед кем? Перед Богом? Но я не знаю, есть ли Он... Нет, должно быть, перед собой. Я хочу, чтобы дни, часы: время — было у меня пусть потраченное, пусть истраченное или даже совсем утраченное. Только бы не растраченное. Понимаешь?»

Может быть, вот поэтому-то я, главным образом, и думала об Ирине, об ее словах и судьбе. И, мысленно разговаривая с ней, добавляла и свои подробности...

Скажем, случается нечто радостное, и ты чувствуешь, как после многих сереньких дней, угрюмых даже месяцев тебя будто бы вздымает на волне, чтобы нести к солнцу. Ты чувствуешь, как вновь охватывает жажда жизни — и живешь с этим ощущением в груди. День, и два дня. Однако, дни не останавливаются, время течет, — и заносит случившуюся радость новым мусором.

Да, я физически ощущала иной раз, как зарастают быльем мои радостные переживания. Быстрозарастают: скорее, чем поле-сорняками... на самом деле их было два. Два любимых человека: в юности Вячеслав, а потом — Святослав.

— Какое совпадение! И ты, наверно, и того, и другого называла «Славиком»?

— Нет: Славой. Святослав появился недавно, вот на днях исполнилось два года со дня нашей первой встречи. Он мне назначил свидание. Я одеваюсь, смотрюсь в зеркало. Стрелка приближается к нужной цифре, а за окном хлещет проливной дождь. Но меня ждет Слава, — говорю я себе и повторяю: Слава — и знаю, что ни дождь не остановит меня, ни гром, ни молния. Потому что — Слава! Ирина вздрагивает:

Все два года если я его вспоминала, то всем телом... — Она шепчет подруге, но шепот ясный, и я тоже слышу:

— Ощущение пробежавшего тока приближалось к оргазму. Только оргазм — это конец, разрешение. Напряжение спадает, приходит благостная усталость. Похожая... вполне, может быть, похожая на смерть... А я, его вспоминая, переживала — и до сих пор еще переживаю, пусть в уже ослабленном виде — мучительное наслаждение, которое не знает спада: одно лишь приближение к наивысшей точке. Приближение длится-длится, становится невыносимым, я зову — Слава!

— Нет, не знаешь: он возвратил мне жажду жизни. Не той, которая заключается в обычных заботах. Не той, которая есть тяжкий труд и борьба за существование. Или достижение карьеры... Не той, которую озвучивает детский плач, звон детских голосов, такой долгий и громкий, что, и умолкнув, продолжает звенеть в ушах, да что — в ушах: во всем теле!

— Нет, не этой жизни жажду...

— И все-таки не той, радость которой в сексуальном наслаждении.

— Святослав воскресил во мне радость жизни. Или, может быть, точнее сказать — жажду радости. Радость проходит, вот, в чем дело. А жажда не кончается никогда. Она может лишь затихнуть, подавленная близкими людьми или обстоятельствами. Затихнуть, сжаться, как под угрозой удара. Потому что на жажду радости постоянно кто-нибудь замахивается.

— Он воскресил во мне свободу, чувство свободы, которое часто окрыляло еще так недавно, может быть, каких-нибудь десять лет назад.

Заботы порабощали постепенно. Разрастались и до того распространялись на моей жизненной площади, что вытеснили — Свободу!

Ирина, похоже, увлеклась и говорила бы еще. Но бокал вина, на который рассчитано ее время, был выпит, и подруга выразительно приподняла свой, показала Ирине: пуст.

— Пойдем. — Они расплатились и вышли, обе примолкшие, показалось — погрузневшие.

— А на следующую серию я немного опоздала и все не могла понять, почему Ирина, уже решившись принять православие, так и не стала верующей. — ...осталась оглашенной, так случилось тогда. Выстроился ряд судьбоносных случайностей...

— «Да мы все оглашенные, — рассуждала я, расхаживая по улицам Пурвциемса, — с самого рождения стоим перед последней тайной: смерти. «Изыдите, оглашенные!» — это ко всем относится. Так что ряд судьбоносных случайностей, о чем помянула Ирина... ну, какое это имеет значение»...

— А он — ну, тот, первый: моя первая любовь, помнишь?

Вячеслав? Ну, конечно, помню. Он сильно отличался от других мальчишек. Может быть, семья такая? Ведь кажется, его родители были ортодоксы? Ну, в смысле, очень верующие?

— Ну, не знаю. Главное, он сам. А я торопилась. Мы все торопились, думали — разве и не для нас хлынувшая свобода? Дайте! И я думала — эти условности... притворство... кому нужны они? Мне казалось, любовная игра, любовные ухищрения в происходящем со мной неуместны. Потому что я — совсем другая, чем все...

— Ну, не сердись: мы же все так думали, каждая считала... Ну, ладно. Мать говорила: влюбился — это что! Этого мало. Вот удержать!

— Да кого и зачем удерживать? — возмущалась я. — Подожди! — Ждать? Чего и зачем? Теперь свобода... — При упоминании свободы мать взглядывала грустно и иронично. Иног-

да не комментировала, но, случалось, не могла удержаться от замечаний. — Вы вседозволенность принимаете за свободу. — А бывало, и грубее скажет: Вам лишь бы мужик под боком, и больше ничего не надо... — Подруга хохотнула.

Но Ирена продолжала говорить с некой истовой серьезностью, казалось, она хочет не просто вместе с подругой вспомнить ушедшие годы, но и наконец-то осмыслить, что же с ними было.

— Мне наша юность вспоминается как сплошной праздник... — Ого!

— Тебе так не кажется?... Ну, может быть, имитация праздника? — Ирена призадумывается, усмехнувшись, говорит дальше:

— Или оргия? Нет, — вздыхает она, — тут не подходят эти слова, ни одно, ни другое...

Подруга молчит, то ли не хочет, то ли не может помочь Ирене, а та не в состоянии остановить поток слов. Подруга, видно, скучает, а Ирена говорит о том, что далеко не каждому поколению выпадает в столь ранней юности — им было всего четырнадцать-пятнадцать лет — пережить такую резкую ломку в общественном устройстве. Что тогда, можно сказать, с утра до вечера: по радио, телевидению, чуть не на каждом уроке в школе, чуть не в любом кружке, объединявшем детей, так сказать, по интересам, они слышали слова «свобода и независимость». Но что свободы от повторения этих слов не прибавлялось. Что ее мама, например, была привязана к дому еще плотнее, чем до наступления свободы. «Свобода? — говорила мама. — Рыскать по магазинам, стоять у плиты? Или смотреть на голодных детей? Невелик выбор»... Ирене казалось, что мать преувеличивает и напрасно тратит силы и время на приготовление обедов...

— Ну, какие там голодные дети?!

— Не скажи, — оживилась подруга, — в школе, помню, мы были вечно голодны. В буфете большинство могли купить только несладкий чай, в какой-то момент он стоил тридцать пять рублей. Цены менялись не по дням, а по часам...

— Да-да-да, — подхватывает Ирена, — это число: тридцать пять — мне тоже запомнилось, потому что однажды мать мне дала утром сорок и механически сказала «поешь там». У меня глаза на лоб, «да? ты, видно, хотела сказать — попей! Чаю голого!» Ну, да: в школе голодные были, но дома-то... Ну, сдаюсь: мамиными заботами... Но мы ведь тоже хотели свободы! Раз ее так много везде, так дайте и нам!

— Ну, и гуляли напропалую. Слово «секс» стало культовым. Девчонка, у которой не было секса, чувствовала себя паршивой овцой в стаде. — Ирена криво усмехается: — Я сама была паршивой овцой! Ты говоришь — за мной увивались. Да, но это потом, и то недолго. А в те годы за мной как-то никто не ухаживал, а я

была готова любому броситься на шею! В благодарность, что заметил. Был один такой, ужасно смешной. Вел со мной какие-то мистические беседы, какие-то числа писал. Учил играть на компьютере. А главное — шевелил ушами!

— Забавлял, наверно.

— Не помню. Только при всей комичности того чучела я благодаря ему перестала испытывать скуку.

— Наверно, это грешно — говорить о скуке. Что значит — скука?

— Как часто мне в ответ на жалобы о скуке говорили — займись делом. Или: как можно скучать, когда столько дела.

— Ну, да. Но это же все невообразимо скучные дела. Если мне хочется проникнуть в тайну Вселенной.

Я знаю — проникнуть нельзя, можно лишь приблизиться. Но и приближение не происходит мгновенно. Оно требует постепенного познания. Терпеливого чтения и перечитывания уже открытого. Затем — сосредоточения над постигнутым, долгого-долго и трудного. Настолько долгого и трудного, что вновь ... одолевает скука.

Да: бывают и озарения. И тогда охватывает чувство счастья.

Только эти озарения не запоминаются, то есть не поддаются описанию. Их невозможно схватить и запихнуть в слова.

У меня было несколько озарений, я помню два из них. Но запихнуть в слова могу лишь сопровождавшие внешние обстоятельства.

Первое было связано с влюбленностью — уж не в то ли чучело? Которое ушами шевелило. Скорее — с предчувствием любви.

Я была одна. Шла утром — поздним утром — по улице Бривибас, — от Элизабетес: прочь от центра. Может быть, я только что рассталась с ним. Или предстояло верное свидание. Помню ликование в душе — потому что подтвердилось ответное чувство. Ведь в нем, ответном чувстве, всегда сомневаешься, амплитуда переживаний широкая, смена настроений мгновенная...

И вот, будто в ответ на мое ликование вдруг хлынул с неба розовый, нежным-нежный розовый свет. Залил здания на Бривибас, верхние этажи, распространился вокруг меня. В вышине, впереди. Мне стало необыкновенно хорошо. Это длилось совсем недолго, я успела пройти до улицы Стабу, не дальше.

Так же вдруг, как нахлынул, розовый свет погас. Вместе с ним и моя радость потухла.

Это не было восходом солнца, ни в коем случае: утро было позднее, и было уже давно светло.

Может быть, из-за тучи выплыло солнце?

Ну, не знаю, не поклянусь, что нет.

Только — тысячу раз я видела, как солнце прячется и вновь выныривает из-за тучи. Но никогда это не находило такого счастливого отклика во мне, такого, будто бы это одно: моя душа и нежным-нежный розовый свет.

А повторилось это лишь однажды. И было связано... как бы это выразиться, чтобы не получилось слишком патетично. Было связано, скажем так: с известной эйфорией в обществе, получившем надежду на свободу.

Еще никто не успел, да и не хотел, задуматься о множественности категорий свободы, о неизбежном ее преобразовании в неволю, мягкую или жесткую, пропитанную ложью или с просачиванием правды.

Никто, наверно, никто еще не успел задуматься, будет ли это свободой лично для него или она будет какая-то общая. То есть ничья.

То было раннее утро после одной из баррикадных ночей в январе 91 года. Круглым путем — чтобы заглянуть на Домскую площадь, — я возвращалась домой после ночного дежурства в одном учреждении. Тогда было несколько таких точек в центре Риги — для стоящих на баррикадах. Медпункты, столовые, ну, просто место, где отдохнуть...

— Да я отлично помню! Там же была моя мама! Медсестричкой. Она и тебя, и меня туда пристроила, ты забыла? Если бы не она, кто бы нас пустил? Соплячек?

— Ну, да, верно. Мы там занимались обыкновенным делом: варили суп для замерзших на баррикадах, резали и подносили им хлеб, мясо — копчености; этой едой снабжали нас деревенские люди. Накормив, перемывали посуду... Словом, ну, работали, как в обыкновенной столовой, в ночную смену.

Тихо, спокойно... Хотя в одну из тех ночей был обстрел, несколько человек убили. Могли и к нам ворваться. Но я, по наивности, должно быть, в это не верила. Да просто и не думала об этом, настолько мне моя жизнь казалась в безопасности.

Ранним-ранним утром я покинула этот дом, осторожно, чтобы не хлопнула, закрыв за собой тяжелую старинную дверь.

После бессонной ночи было легкое головокружение. Но в остальном самочувствие было прекрасное, такое, будто все мое существо пронизано осознанием начала моей бесконечной жизни и впереди — много-много радостей. Мне было пятнадцать лет.

Но разве не пятнадцать было и накануне? И несколько месяцев назад? Так ведь разве помнилось, разве каждый день ощущалось, что я нахожусь в начале жизни и у меня все-все еще впереди?

Молодых часто уговаривают, журят, утешают, как заклинание произнося эту совершенно справедливую фразу: «у тебя все впереди». Но фраза эта чаще всего произносится как раз в те минуты, когда с тобой что-то случилось, по-твоему — непоправимое; когда кажется, что свет померк навсегда. Поэтому — фраза или пропускается мимо ушей, либо раздражает кажущейся несостоятельностью, даже лживостью: чувства настроены на другую волну, которую можно обозначить другой фразой — «все кончено»...

Было раннее-раннее утро. После нескольких дней январской оттепели, распутившей по городу слякоть и лужи, этой ночью слегка подморозило. И сразу город стал казаться чище, как будто даже прозрачнее, что ли.

Да и воздух был чистый и прозрачный, и тишина необыкновенная. Только-только возобновили движение трамваи и троллейбусы, и еще не породили ни звона, ни дребезжания.

И я, не сговариваясь с собой, нечаянно пошла в противоположную от своего дома сторону — к центру, к Домской площади. Этот розовый, нежным нежно-розовый свет — как тогда, на улице Бривибас, — застал меня почти у площади; уже видны были тлеющие костры, тихие грузовики и тракторы, сидящие у костров притихшие люди.

Меня обнимала доброжелательная атмосфера, я ее, казалось, вынесла на себе из того дома, где ночью дежурила, — на одежде как, бывает, выносишь из помещения и приносишь к себе домой запах курева.

Эта ночь, которую я там провела, атмосфера этой ночи, была почти семейной. Да и в семье так бывает совсем не часто...

В эту ночь... Да их было несколько, — когда множество людей по-родственному, по вза-

имной приязни объединились в сообщество во- истину человеческое. Очеловеченное.

Ну, и вот это освещение. Не то с неба нис- ходящее, не то льющееся из человеческих душ. Или — и с неба, а ему навстречу — и с земли тоже.

Такое счастье! Не меньше, чем в тот раз, на улице Бривибас.

Только теперь не примешивалась влюб- ленность. Напротив: про чудака, что шевелил ушами, мне девчонки доложили: сидит в кафе с какой-то мымрой, ручки ей пожимает! Но мое «все кончено» быстро на сей раз быльем порос- ло: уж очень многое происходило.

Не знаю, как другие, но я, да, наверно, и большинство наших сверстников, больши- ми глотками пили свободу. Свобода текла, как вольная река. Да нам и пить-то было больше нечего, кроме этой свободы. Сам воздух стал разреженным, вдох оказывался так глубок, что впору задохнуться. Да и будь другие напитки, разве сладостный от горького не отличит и ре- бенок?

А мы уже были не дети...

* * *

Так что же с Вячеславом? — спросила при- следующей встрече подруга, едва пригубив вина. Моя первая любовь, — шепчет Ирена в ответ, — тот Слава: мой первый...

Ну, что... Мне еще не было восемнадцати. Все бегали на свиданья, торопились, кто еще не успел, приобрести бойфренда. Мужика под бок, как выразилась моя мама. И я наконец-то стала бегать, слава Богу...

«Опоздаешь, как же, — иронизировала мать. — Учись-ка лучше искусству исчезнове- ния. Ускользни — чуть раньше, чем хочется: тебе будет совсем другая цена». «Мне цена не нужна». ...Едва мне сравнялось восемнадцать, Слава сделал предложение.

— Какой старомодный.

— Ну, да. «Обвенчаемся», — он сказал. Я была готова хоть сейчас, но батюшка отказал: я же некрещенная! Сперва полагалось пройти обряд крещения.

Я сделалась оглашенной, могла бы вскоре и креститься. Но... что-то во мне зыграло, ка- кая-то обида. Слава сказал еще: «ты такая пыл-

кая, Ирена», мне услышался упрек в излишней торопливости. Припомнилось, как в раннем детстве бабушка говорила мне: «Что орешь, как оглашенная». Значит, я — оглашенная: не та- кая, как все, — думалось мне. Ну, строптивый у меня характер, вот такое дело...

— Нашлась строптивница! — в голосе под- руги послышалась насмешка.

...Исчезнуть? Мать советовала Ирене ов- ладеть искусством исчезновения.

Батюшка в церкви несколько раз повто- рил: «Изыдите, оглашенные!» В словах этих почудилось нечто мистическое. Ирена вышла из церкви в странном состоянии, казалось, она куда-то уплывает. Или — улетаёт, лишенная ве- сомости...

Наутро она решила и на самом деле ис- чезнуть: просто уехать из города на некоторое время. Слава позвонил, она ответила суховато. Положив трубку, проворчала: «Нашелся пра- ведник! Венчаться ему! Ну, и ладно: исчезну, как мать велела. Раз уж мне на роду написано быть не такой, как все».

— «Дай ключи, пожалуйста», — обрати- лась она к матери.

— «Какие?»

«От теткиного дома».

Мать посмотрела на Ирену без удивле- ния, даже с какой-то радостью и без слов вру- чила ключи от пустого дома в деревне, достав- шегося ей по наследству после умершей тетки.

Ирена рассудила — матери так ... спокой- нее: она боится, как бы в Риге дочка не наделала глупостей. «С нее все станется, не дождавшись ни крещения, ни венчания с тем, кого, кажется, по-настоящему полюбила, возьмет и убежит. Бог знает куда и зачем, а там, в этом «Бог зна- ет где», может стать и наркоманкой, и алкого- личкой. Да кто знает, к чему может привести ее пылкий характер».

Целуя мать на прощание, Ирена не удер- жалась от замечания: «Ты ничего не понима- ешь».

В глазах матери тревога сменилась обидой: «Ну, конечно: только вы все понимаете. Умники».

А у Ирены всю дорогу — сперва в поезде, потом — в пыльном автобусе, — было муторно на душе.

— «Ну, почему я так?»

Припомнилось, как когда-то — ей было не то четырнадцать, не то пятнадцать лет — они с матерью переругались. Как никогда, серьезно.

«У всех, ты пойми — у всех, — орала Ирена, — есть друг! У Ванды он живет, и ее мать никаких пожаров от этого не раздувает!»

«А кто его кормит?» — поинтересовалась мать.

«Ну... Ванда!»

«Вот как! А саму Ванду?»

— Сейчас — в электричке, — Ирена рассмехалась. Но тогда, она понимала, было не до смеха. Особенно матери...

Теткин дом в деревне был пустой и холодный. Печь в комнате дымила, а плиту в кухне из-за дыма и вовсе было не растопить. Сельский магазин тоже пустовал.

Ирена покупала карамель, радовалась, если привозили хлеб. В теткином саду жевала прозрачный спелый крыжовник, давила языком красную смородину. От кислого сводило рот. Начались боли в желудке. Чувство постоянного голода угнездилось в ней, казалось, навсегда. Ирена чувствовала себя больной, отверженной — в своей добровольной ссылке.

Пришел август, а с ним — признаки осенних перемен в природе, самый заметный — другое освещение. Ирена все больше погружалась в наблюдение природы и однажды обнаружила в себе желание запоминать увиденное, — чтобы все потом пересказать Вячеславу.

Она стала вслух разговаривать с ним, забыв, что она одна в этом деревенском доме.

«Уже четвертый день дует северо-восточный ветер. Липы клонят ветви в сторону моего крыльца, ветер несет холод, неуют, неприкаянность. А вечера такие темные, и с каждым днем все темнее»...

Уж не этот ли — один из главных признаков любви? Неугомонное желание всем, что ни есть в тебе, поделиться с Ним. Наполненными великим смыслом казались каждое дуновение ветра, каждый крик летящих мимо журавлей, каждая звездочка, которая загорается темной ночью в просвете меж темными облаками... Желание делиться возникает именно в разлуке. А при встрече — немота. То, что казалось важным, обращается в ничтожное, ненужное ни ему, ни ей.

...Все кончилось внезапно. Появление ма-

тери на тропинке к дому еще не вызвало в Ирене никакой тревоги. Ирена знала, что мать не утерпит, придет к ней. Пожалуй, она уже начинала ждать маму, по-детски: смутно ожидая, что та ее накормит. Привезет из Риги кусочек мяса, сварит какой-нибудь суп. Ирена даже припрятала в шкафу несколько карамелек, чтобы угостить маму, если та придет.

* * *

«Вячеслава больше нет, — пробормотала мать, обнимая и целуя Ирену. — Мой бедный Пан»...

Она рассказала, что Славик погиб темной августовской ночью при невыясненных обстоятельствах. Его нашли неподалеку от дома.

«Следов насилия полиция не обнаружила».

«От сердца?» — еще ничего не понимая, спрашивала Ирена.

«Ну, сердце, конечно, остановилось, — медленно старалась объяснить мать. — Но я не понимаю, почему. Славик, кажется, был здоровый»...

«Что ты удивляешься, — взялась Ирена объяснять матери и самой непонятную смерть, — теперь многие умирают молодыми. И гибнут — от случайной пули, в каких-нибудь уличных потасовках. Сколько среди моих сверстниц одиноких, так и не успевших выйти замуж за своих мальчиков... Они хоть жили с ними, а я»...

«Да-да, — соглашалась мать, — но те были алкоголики, наркоманы. Пьяные драки, поножовщина. Передозировка. Или, напротив, при добывании дозы. Кто-нибудь пытался отнять и... Но это же все не относится к Славе»...

Наутро Ирена отправила мать обратно в Ригу, объяснив, что хочет остаться наедине с природой.

«Космос, мама. Вселенная, — назови, как хочешь. Я верю, что здесь я найду способ к нему обратиться и высказать свои чувства».

«Да ты повредила в уме! Мой бедный Пан!» — в глазах матери отразился, конечно, последний ужас.

«Все пройдет»...

«Я даже денег тебе не могу оставить, чем ты будешь питаться?» — Это был последний довод. Убедительный. Почти правда: денег дейс-

твительно было очень мало, и матери нужно было кормить на них младших детей.

«Я вернусь, заработаю».

«Где? Тебя уборщицей — и то не возьмут!»

«Ну, а как ты считаешь: на что мы бы жили с Вячеславом?»

«Вот я и просила вас не торопиться».

И это было почти правдой, хотя, убедившись в невозможности повлиять на Ирену, мать и уговаривала себя: как-нибудь да проживут — вдвоем, любящие, молодые... Конечно, образование, о котором она мечтала для своей Ирены, грозило так и остаться всего лишь мечтой.

Оставшись одна, Ирена принялась ломать голову, как же ей донести до Славика обращенные к нему слова. Она бралась за карандаш — в пустом теткин дом даже ручки не нашлось, — усаживалась за стол и долго оставалась неподвижной над чистым листом бумаги, глядя в стенку — в какую-то точку там. Нарастало напряжение, а слов не находилось. Она не знала, как выразить, зато мощно ощущала в себе — что.

«Даже будь у меня адрес... Он же просил писать «до востребования». А я только твердила имя: Слава, Сла-ва! Ах, как же написать? Рассказать себя? Но возможно ли это? Собственная личность ускользает: неуловимые черты, признаки. Изменчивые, как погода. Даже в летнюю пору».

Лишь только в июле было долгое, долгое, будто застывшее на одной точке неподвижное лето. Погода не менялась. Солнце вставало... да что — вставало! Оно почти и не ложилось, почти никуда не уходило. Чуть вздремнешь — и оно снова тут, и лучи уже почти такие же жаркие, как были накануне в час зенита. Вот она: вечность. Остановившееся летнее время, замершее.

«Да это не мое открытие, этот летний пик уже давно назван летним солнцестоянием».

А через несколько дней пошли изменения.

Показалось, что темнеть стало раньше вдруг, что освещение тоже изменилось вдруг, и по-другому зашелестели листвою деревья. Не по-другому: в солнцестояние они и вовсе не шелестели — ветра почти и не было.

«Ну, а теперь задул. Сделалось неудобно».

Возбуждая тревогу, дул и дул северо-вос-

точный ветер, до самого наступления полнолуния. В пустом доме гуляли сквозняки, хотя Ирене казалось, что она с вечера закрыла окна и утром ни одного не открывала.

«Может быть, причина беспокойства — голод? Ни ягоды, ни чай нисколько не насыщают».

У крыльца появляются соседские дети, два мальчика. «Здравствуйте!»

«Ну, привет».

«А мы вчера в лес ходили»...

До наступления полнолуния не стихал ветер с востока. Ветви старых лип клонились в сторону дома, шумели, не давая сосредоточиться на письме.

Ирена хотела написать ему, чтобы избавиться... От чего? Ирена не знала, но что-то ее переполняло так сильно, что казалось — еще немного, и она не вынесет этого странного напряжения, от которого хотелось иногда просто убежать. Но куда? Как?

Казалось — к нему: к Вячеславу. Что его уже нет, Ирена забывала, думая лишь о том, как же сказать то невозможное, что творится в душе.

Пришло полнолуние. Ветер прекратился. Луна выкатилась из-за высокого, раскидистого дерева на горизонте. Ирена сперва ее не узнала. Увидела что-то красное, необыкновенное, похожее, может быть, на костер. А то и на далекий и странный пожар. Она не испугалась, только силилась понять, что же это, напряженно глядясь. Вновь казалось, что душу надрывает непонятность, невыразимость. Не только в ней самой, но и вовне.

Тут эта огромная, красная луна полностью вынырнула из-за своего укрытия. Ирена рассмеялась, узнавая.

«Полнолуние».

Ночь наступила чудная. Светлая, светлая. Деревья, дом, соседский сарай, поленница дров отбрасывали тень почти как днем, при солнечном свете. И все-таки было все совсем иначе: все напоминало о невероятном множестве тайн; о страшной таинственности мира. Ирена вспомнила свою готовность приобщиться.

«Изыдите, оглашенные!» — почему же, почему так поразили эти слова священника? Так пленили, так обольстили! — «Изыдите!»

После обретения свободы девочки и маль-

чики, ослепленные, сбитые с толку, многие — насытые и не одетые — ринулись к познанию всего.

Однако мало что впечатляло, не обреталось их душами ни равновесия, ни покоя...

«Мужик под боком...» — вот, точно врезалось в память выражение матери. И слышится так, как и было произнесено, с полным повтором тембра голоса, интонации».

Ну, да: девочки и мальчики спешили приобщиться к таинству брака, — «а брак — это связь, по-гречески, кажется», — потому что так поступали все...»

«А мы вчера в лесу были».

«Ягоды?»

«Угу: десять литров черники набрали. Хотите, и вам принесем?»

«Спасибо, не надо: денег нет».

«А вы хлеба дайте. Обменяемся».

«Да и хлеба нет. Вчера прихожу в лавку — нет, говорят, не привезли».

«Так сегодня автолавка у школы будет! Точно! Мы бы сбегали, да мама говорит, далеко еще до пособия, не дождешься... А вы купите себе, и нам сколько-нибудь дайте, за чернику».

«Хорошо».

Мальчики убежали за черникой, а Ирена вернулась в дом, к столу и, чтобы не забыть, записала на так и оставшемся чистым листе бумаги: «сходить за хлебом».

Написав эти простые слова, Ирена не выпустила карандаша, стала водить бессмысленно по бумаге, пока само собой, как-то помимо воли, не написалось еще: «Какая ночь»...

Так на листе в раскрытой тетради только и осталось — от бездны! от всей бездны пережитого — всего и осталось пять слов в двух записях: «сходить за хлебом» и «какая ночь».

* * *

Я спроводила мать в Ригу на другое же утро: казалось, она мешает... А сама... оцепенела, что ли. Дала заполнить горю все клетки своего тела и души. И старалась не шевелиться. Да и не могла. Простившись с матерью, рухнула в траву и весь день лежала, как парализованная. Под вечер открыла глаза и стала глядеть в небо. А оно оставалось таким же — как вчера, позав-

чера. Там тихо и спокойно плыли белые облака. Потом по самой серединке пролегло перистое облачко, такое легкое и красивое. Скоро оно исчезло, будто растворилось. Показалось, я и сама исчезла, не то умерла, не то перенеслась в параллельный мир. И с неба, что ли: откуда-то, глядит, будто бы, на меня некто, с сочувствием.

Больше ничего не помню.

Конечно, я собиралась вернуться в Ригу. Конечно, понимала, что не могу остаться в этом теткинском доме, ничего не делая для какой-нибудь организации своей жизни.

... «Ох, ты вернулась наконец, слава Богу, — встретила в Риге мама и осторожно обняла меня, но быстро отстранилась, будто сомневаясь, хочу ли я ее ласки. — Кто тебя поймет», — бормотала она, робко меня оглядывая.

По прошествии лет я поняла, почему как только могут оберегают детей и юных мальчиков и девочек от всего страшного и тяжелого, не спешат сообщить о беде, стараются подготовить. Еще бы — в юности любое переживание имеет сокрушительную силу. Оно интенсивно... однако... — не слишком продолжительно.

«Со мной все в порядке», — доложила я.

«И что же ты намерена делать?»

«Жить».

Слово «жить» я сказала со всей страстью, какую только возможно передать голосом. Я, — так мне думается, — стала осуществлять свое желание жить наконец, как все...

— Ну, и правильно, — одобрила подруга.

Однако Ирене казалось, что годы и годы проваливаются куда-то, исчезают, незамеченные. Какие-то беспамятные годы. Она почти постоянно находилась в состоянии не то дремоты, не то беспамятства. Порой даже казалось, что хуже — безумия.

«Ты какая-то ... не такая. Я за тебя боюсь».

«За мой рассудок?», — криво усмехнулась Ирена обеспокоенности матери, называя словом то, что мать не хотела проговаривать.

Из многих лет запомнились еще слова отца — показалось, что они значительны. Разговор родителей она подслушала случайно, вовсе даже не только не желая услышать что-нибудь о себе, но и просто ничуть не интересуясь ни их разговорами, ни самой их жизнью, предпочитая оставаться в своей дремотности.

— Вероятно, мать — уже не в первый раз, — делилась своим недовольством Ириныной жизнью.

Отец сказал: «Это природа, и с ней ничего не сделаешь. Дверь запрешь — выскочит в окно. Разобьет, изрежется в кровь, но все равно убежит».

«Оглашенная», — подтвердила мать.

«Да все они оглашенные, — отстраненно заметил отец, подразумевая, должно быть, нынешнее молодое поколение. — Помешались на сексе, превратили в культ».

Подумалось — вскользь, — что отец, пожалуй, прав. То, что она меняет любовников, волновало не особенно. Казнилась, что ею все сильнее овладевает дремотность.

— Подумаешь — мужчины...

— А что — мужчины? — проворчала подруга. — Вокруг тебя так и увивались, так и роились... На твоём месте и любая бы грешила всюю.

Ну, и я не выпендривалась. Раздвигала ноги...

Ирине нравилось наутро расспрашивать очередного партнера о себе.

«Ну, что, скажи: что тебе кажется во мне главным?»

Иной ничего не умел выдать, другие не хотели: может быть, их вообще раздражала болтовня. Ирина тогда сразу переставала выпытывать.

«Красота», — мог ляпнуть кто-нибудь, не утруждаясь поиском более утонченного комплимента.

Она смеялась в ответ. Но могла и рассердиться: была уверена, что он лжет. Ну, какая красота? Вечные прыщи на лбу. Правда, она умело их прикрывала челкой.

«Но в постели-то».

За «красоту» Ирина скоро покидала умника.

«Да не за «красоту», — морщилась она, если устаивала задуматься. — Скучно делалось. Невыносимо»...

Один журналист сумел сказать нечто оригинальнее.

«У тебя такой вид... как бы это поточнее... — он задумался и наконец изрек: — Словом, так — я на тебя смотрю, а ты, будто бы, отвечаешь на мой взгляд — знаем, но не скажем. Вот».

«Печать тайны», — хмыкнула Ирина. А про себя подумала серьезно: «Наверно, оставшейся от того лета, когда я изображала лесного Пана. Всего-то недели три... ну, месяц. Чепуха... Хотя я, и правда, сильно тогда страдала. Любовь, конец любви... Закаты и восходы... Северовосточный ветер. Потом полнолуние. Так много всего. Но осталось лишь пять слов: «сходить за хлебом» и «какая ночь».

Мужчины ко мне тоже не привязывались. Нет, не прикипали. Я, правда, и не старалась привязать. Однако понимала, — и захоти, все равно не сумею. Может быть, бойфрендов отпугивала моя отстраненность. Не хотели оставаться подле такой: вроде бы беспредельно свободной, независимой, а в то же время — настырной, какой-то навязчивой. «Прилипнет — не отвяжешься», — так, говорят, сказанул в компании один мой бывший.

Конечно, профанация.

Но с журналистом возникло некое подопле — если не взаимопонимания, то хотя бы равенства. От него я и родила своего первенца — Сашу. Однако Танечка родилась уже от другого, хотя разница у детей всего два года. ... Вот так, дорогая, осуществлялось мое страстное желание жить! Да я не просто жила — я хлебала жизнь! Нахлебалась — забот, вечной нужды, нелюбимой работы! А беспокойства! А тревог! Дети росли, родители умирали... Я все глубже уходила в свои беспамятные годы.

Что было в них? Я приходила в отчаяние, когда вдруг как бы пробуждалась от своего беспамятства и начинала задаваться никчемными вопросами. Я не знала ответов. Из-за неужеримости убегающего времени и осознания, что не могу придать ему ни смысла, ни оправдания, я приходила в ужас.

Изредка забредала в церковь. Опять и опять слышала: «Изыдите, оглашенные!» Никто из прихожан и не двигался. Наверно, это была пустая формальность — ну, то есть, священнику полагалось перед причастием произнести эти слова. Но я-то в них слышала — набат. Колокол, звонящий по моей жизни. Свою неприятность в осмысленное бытие, отторжение.

Ирина, допивая вино, криво улыбается: Ну, что я за отпетая такая личность?

Будь проще, — вздыхает подруга, — не принимай все так близко к сердцу.

— Как будто я принимала когда-нибудь! Да никогда! Ни с кем и ни с чем не считалась. Ну, детей, конечно, не бросала, воспитывала, как могла. Я думаю, — шепчет она, — меня спасти по-настоящему мог бы Слава. Первый. Первая моя любовь.

Слава был истинно верующим. А я... да не наступи эти перемены, может быть, так бы и прожила, не задумываясь ни о Боге, ни о вере. Но верить в Бога стало модно. Тоже, знаешь, один из атрибутов свободы. И выбор есть: вот тебе православная церковь... Некоторые наши одноклассницы, если ты помнишь, приняли католичество. Можно в лютеране. А хочешь — хоть в кришнаиты иди. С бухты-барухты, тут же другие традиции...

А теперь я тебе расскажу про Святослава — мою вторую любовь.

Не знаю, кто позвал первый, я ли, он ли. Я-то, льстя себе, думаю, что, уж конечно, первый сигнал исходил от него. А я только разглядела в его глазах желание проникнуть в мою тайну. В существовании тайны я не сомневалась. Какая-то стала во мне проявляться двойственность. Я ее ясно поняла, опять исчезнув из Риги, — как тогда, после оглашения, — и схоронившись вместе с детьми в теткин дом.

«Главное — имя, — шептала я себе, удивляя детей, — такое совпадение. Я опять смогу повторять: Сла-ва, Слава, — как заклинание, как мольбу. Вот только не знаю, о чем».

«Что ты там шепчешь?» — спросил Саша. А Танька кокетливо наклонила светленькую головенку и, заглядывая мне в глаза, говорит: «Колдуешь, что ли?»

Я провела ладошками по головкам детей, жестом успокаивая, но давая понять, что не надо меня тревожить. Ну, хотя бы потому, что я собираю вещи в дорогу.

«Мы уезжаем».

Собираясь, я думала о том, что вновь, как и тогда, чувствую себя оглашенной. То есть в преддверии чего-то важного, судьбоносного... Знаешь, говорят, когда-то давно провинившихся в чем-нибудь собор отлучал от причастия, и они четыре года тоже стояли с оглашенными. ...В деревне, как всегда, пленила, даже соблазнила особенность тамошнего мира. Я бы назвала ее — отрешением.

Ведь я, с тех пор, как у меня дети, никак не могу полностью отрешиться: не дают. Тем отчетливее я начинаю различать грань в своем двойственном бытовании. Одно — понятное,

не требует никаких разъяснений. Реальное... Хотя... второе-то чем не реально? Вот и разберись... Словом, это первое, так называемое реальное — оно совсем простое, и мы в нем постоянно. Это наша работа, карьера. Это дом и семья. В это реальное бытование погружаешься с головой, а бывает, в нем утопают и душа, и сердце. Не будешь ведь о детях заботиться без души. Хотя, конечно, мы бываем к ним куда как бессердечны.

Однако второе бытование тоже вполне реально. Только там я вижу не присутствующих около меня людей, а совсем других, случается — и уже ушедших в мир иной. И я беседую с ними о разных предметах. Больше всего — о любви.

Но послушай еще немного про Святослава. Он вновь разбудил во мне жажду жизни! В этой жажде нашлось столько очарования, а ведь я давно уже не прельщалась ничем.

Приехав с детьми в деревню, мы каждый день — недели две это длилось, — находились какое-то время во власти вот этого: второго бытования...

— И дети?

— Да-да: и дети. Они-то как раз к такому бытованию куда больше расположены, чем взрослые. Ты, если подумаешь, и сама вспомнишь, как твоя дочка с ходу может включиться в какую-нибудь игру. Скажешь ты что-нибудь шутивное или придуманное, чего и ты, и она знаете, на самом деле не бывает. Ты только заикнись, она слету подхватит, по-своему развивать начнет. Так?

Подруга кивнула.

Ну, вот, значит, я и дети находились во власти второго бытования. Дети — своего, а я, понятно, совсем другого.

Погода выдалась жаркая и сухая. Месяц июль, самое начало. Ночи светлые, теплые. Солнце долго не садится, и, если дети не хотят спать, мы идем смотреть закат. Это вечерняя прогулка, не очень далекая: надо только выйти из сада, затем немного по тропинке к большаку и еще чуть-чуть от большака по другой тропинке, — пока не останутся позади густые и высокие липы, за которыми не видно уходящего солнца. Тут и откроется необыкновенная, волшебная панорама.

В саду к этому часу уже бывает сумеречно; чуть отойдешь от нагретого солнцем дома, сразу со всех сторон обступит влажная прохлада. — Бр-р, — скажет кто-нибудь из детей, и

второй, конечно, тут же повторит и нарочито вздрогнет. Я обниму обоих, прижму к своему еще горячему после жаркого дня телу, и мы все трое рассмеемся.

А за большаком еще теплынь. Поле заливают вечерний свет, а небосклон яркий, желто-оранжевый. Иногда больше красный, и солнце огнем горит, это значит, что завтра будет ветер. Это вечернее освещение...

А если на солнце чуть-чуть надвинулось темное облако, то можно вообразить, что это волшебный фонарь. Как будто кто-то играет с нами и нарочно прикрыл лампу абажуром из темной плотной бумаги.

Дети притихшие, смотрят во все глаза...

— И тут вы попадаете в свое второе бытование? — нетерпеливо спрашивает подруга.

— Нет, почему? — удивляется Ирена. — Это — час гармонии, мы так любим друг друга, все трое. У меня на душе тепло, я чувствую редкостное удовлетворение уходящим днем. Будто бы выполнила что-то на меня возложенное. Свыше, конечно: никак не меньше; но и не больше, — Ирена смеется. — Остается довести дело до конца: уложить детей по кроватям. И без крика, по возможности, — она опять смеется. — Ну, а утром, можешь догадаться: все кувыркот. Дети вопят, ссорятся. У меня голова кругом — подступает жара, надо убежать к воде. На пруд мы ходим, у нас там огромный карьер, гравий копают. Заодно вырылся чудесный водоемчик, чистый, глубокий. Дети наперебой пристают — когда пойдем купаться? А мне же их накормить надо! И еще вопрос — чем. С продуктами так себе. В лавке продают по большей части что-нибудь дорогое и не очень нужное, а то и вредное, тем более детям. Ну, там чипсы и так далее, это разве еда? Когда мало денег, выгоднее всего купить мясо. А мяса-то и нет. Ладно: варю гороховый суп на кусочке колбасы, жарю сырники из старого творога, взятого еще из Риги. Стою как проклятая у плиты, расстраиваюсь — еще ведь и недовольны будут гороховым супом. Ну, уф — обед сварганила. Можем убежать. Опять шум и гам: я это возьму, а где моя лопатка, а я не понесу, а я тебе тогда играть не дам...

Ирена умолкает. Молча смотрит куда-то. Она сегодня сидит лицом ко мне, а подруга — спиной. И я вижу, что Ирена смотрит совсем не на подругу, а куда-то мимо, в какую-то, не знаю чем примечательную, точку на стене.

Однажды она сказала подруге, что мать сокрушалась по поводу ее вот такого взгляда: это нехороший признак, когда человек долго

глядит остановившимися глазами в одну точку.

На сей раз я хорошо вижу, что у Ирены глаза — не как у всех: другие. Рассуждаю с собой — уж не это ли и привлекло мое внимание к Ирене? Я стараюсь не позволить себе смотреть слишком пристально, но взгляд Ирены притягивает помимо воли.

— Ирена! — Будто бы стараясь разбудить, окликает подруга.

— Да-а-а, — тянет Ирена, прикрывая рот ладонью, стараясь подавить зевоту. — Да: возле воды водворяется тишина. Вокруг — никогошеньки, и тишина такая, что слышно, кажется, как пролетают над водой стрекозы. Дети мои переплывают на остров. Да там мелко, можно и пройти, но они воображают, что плывут. После опять возвращаются, вещи перенести, держа над головой, чтобы не намочить. Ну, там, полотенце, запасные трусики, лопатку. Теперь, я знаю, они погрузятся в бытование на своем собственном, якобы ими, отважными мореплавателями, открытом острове.

Остров каменистый... ну, на самом деле не остров, а всего лишь большая куча гравия, оставленная посреди водоема. Там, на ней, и огромные валуны есть, а сколько солнца!

Дети, значит, там, и я тоже оказываюсь на своем «острове», попадаю в свой «очерченный круг». На самом деле это каменистый берег, не очень длинная узкая тропинка, где нет, наверно, случайно, ни одного крупного голыща, только совсем меленькая галька, к ней мои ступни уже притерпелись.

И вот теперь ты постарайся мне поверить. Я хожу по своей тропинке, несколько раз, туда и обратно. Размеренные шаги, тишина располагают к особенному сосредоточению — и возле меня, совсем рядом, возникает Святослав: моя вторая любовь. Мы некоторое время разговариваем — о чем-то совершенно обыкновенном, но я чувствую его проникновение... его способность и труд проникнуть... в мою жизнь, мой душевный настрой, мое дыхание...

Слава, Славик, — я бормочу имя, как заклинание, и уже не помню, кто со мной: тот, первый? Кажется неважным, что того, первого, давным-давно нет на свете... Или я вижу Святослава? Второго? Что несколько не менее невероятно: Святослав находится за много километров отсюда... Мы смотрим на облака; сначала только смотрим, а затем и сами делаемся такими же легкими, как облака, и тоже оказываемся в вышине. Оттуда все на земле видится необычайно красивым. Ржавые железки, некогда забро-

шенные сюда, в карьер, как на свалку, видятся всего лишь пятнами чуть побуревшего песка; стрекозы над водой глядят закрытыми глазами куда-то в неведомые дали. Мир кажется гармоничным, а своего дыхания я даже просто не замечая, настолько оно легкое, незатрудненное...

— Долго ли? — Ты спрашиваешь о часах, минутах?

Я не знаю, так как нахожусь вне времени... И вот, слышу голос в вышине, не сердитый, а скорее — отрешенный:

«Изыдите, оглашенные!»

Я понимаю, что должна покаяться, и мое покаяние будет принято, потому что много милосердия и на земле, и на небе.

Но я знаю и другое: мне на роду написано всю жизнь простоять с оглашенными. Меня будут отлучать и отлучать от причастия, потому что я останусь среди тех, кто желают узнать неизреченное нечто, а также гадают по бегущим облакам...

Ирена — я по-прежнему хорошо вижу ее лицо, оно мне кажется преображенным, вдохновенным, — переводит глаза на подругу и повторяет: «Я оглашенная: гадаю по облакам».

Взгляд ее невыразимо печален, но я вижу в нем и прекрасную, будто бы свыше дарованную отрешенность.

Подруга Ирены молчит, они выдерживают долгую-долгую паузу, наверно, думаю я, необходимую им обоим, да и мне, чтобы прочувс-

твовать постигнутую этой молодой женщиной связь земли и неба.

Затем подруга, будто бы стараясь разбудить, осторожно касается пальцами локтя Ирены.

— А что же Святослав? Где он?

— Здесь. Живет себе в Риге.

— Один?

— Не знаю. Может быть, и не один.

— Но почему же вы расстались? Такая любовь...

— Во-первых, я боялась или — не хотела... утяжелить, что ли, мое первое, так называемое реальное бытование. Еще одна сердечная привязанность... Да у меня дети.

— Он... не смог бы полюбить детей?

— Послушай, я ничего не знаю. Мы вернулись из деревни. Я встретила с ним несколько раз. Только все было как-то странно. Не мне было странно: ему. Я почувствовала. Он всего-то и сказал: ты, Ирена, все чаще глядишь в одну точку застывшими глазами.

Ирена улыбается, чуть передергивает плечи, будто бы желая стряхнуть наваждение.

— Да не слушай ты меня! Это все ерунда. Однажды он больше не пришел, вот и все. Может быть, и другую встретил. А я не хочу признаться, что меня бросили, потому и сочиняю!